

ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ НОВОЙ КНИГИ:

Гюнтер ГРАСС

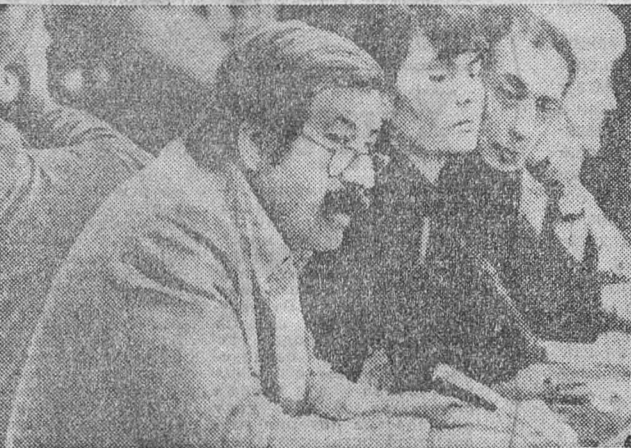
«Мое поколение — о себе я могу это утверждать с полной ответственностью — постоянно сознает, что оно по чистой случайности получило возможность писать, ибо люди моего года рождения — 1927 года, равно как и более старые... знают — эти возраста понесли огромные потери. Война произвела своего рода негатиный отбор, уничтожив множество талантов, наверное, гораздо больших, нежели все мы, вместе взятые. И когда я пишу, то ощущаю — не всегда, но часто ощущаю, — что я говорю от имени множества людей, которые уже никогда не смогут высказаться».

Эти слова принадлежат одному из современных писателей ФРГ Гюнтеру Грассу. Славу его никак не назовешь спонтанной, неземлемо академической: книги Грасса, начиная с романа «Жестяной барабан» (1959), неизменно становятся центром бурной, подчас ожесточенной полемики. Парадоксальные, острые до пародийности сюжеты, к тому же еще и прихотливо переплетающиеся внутри каждой книги и от книги к книге; персонажи то выпукло карикатурные, то условные; до полной «обостренности» неисчислимое множество намеков,

зашифрованных, тонких реминисценций, понятных в лучшем случае самым образованным из соотечественников, и некая жадная жажда мира, неприятие лжи, насилия, буржуазного лицемерия, близкие любому «честному» человеку заветы, — все это давало и дает богатейшую пищу и для критических изысканий, и для читательских споров. Сложностью, «неудобностью» писательского почерка Грасса, в котором, образно говоря, сплелись готические корни и современная стенография, объясняется во многом и то, что его произве-

дения крайне трудны для перевода. Советский читатель пока знаком лишь с повестью «Кошка и мышь», опубликованной в журнале «Иностранная литература» в 1968 году. Но при всех субъективных особенностях почерка Гюнтера Грасса неоспоримо одно: это почерк большого и самобытного художника. За «Данцигской трилогией» («Жестяной барабан», «Кошка и мышь», «Собачий год») последовали романы «Под местным наркозом», «Из дневника улитки», «Камбала», многочисленные статьи и публицистические выступления, также составившие несколько томов. Кроме того, Грасс настойчиво пробовал свои силы как драматург и как поэт. И, наконец, двадцатилетие своего первого крупного литературного успеха писатель отметил выходом повести «Встреча в Тельгте» (1979) — и вновь подлил масла в и без того жаркие критические топки.

Когда знакомимся с ины-



Гюнтер Грасс (слева) на берлинской встрече писателей и ученых ряда стран Европы. Декабрь 1981 года.

ми комментариями и «Встречей» (да и ко многим другим произведениям Грасса), так и вспоминается знаменитое голландское: «Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. При этом, это уж совсем непонятно». Действительно, сюжет и здесь предельно

своеобразен, решительно ни на что «натуральное» не похож: в центре повествования — воображаемый съезд немецких писателей XVII века. Отрывок неизбежно меньше и беднее целого — тем более газетный отрывок, с внутренними, в силу малого его объема, сокращениями, — и все же судите сами.

ние: этого, видать, зачал на полном скаку какой-нибудь удалец из конницы Мансфельда. Вскоре выяснилось, однако, что Гельнхаузен стоял куда ближе к действительности, чем могло показаться. Когда Дах описал нюрнбержцам бедственное положение поэтов, а Гельнхаузен тут же в пространно-витиеватой речи предложил все устроить, Харсдёрфер отвел Даха в сторону: парень-де хоть и несет околесицу не хуже иного странствующего звездочета, но куда более толков, остер и сведущ, чем о том свидетельствуют его шутовские повадки. Служит он секретарем шауэнбургского полка, расквартированного в Оффенбурге. В Кельне, куда они прибыли по реке из Вюрцбурга, он уже имел случай выручить их из затруднений. Ему равно знакомы и отцы церкви, и греческие боги, и созвездия. И о нуждах низкой жизни он умеет позаботиться, как никто, и места ему тут все знакомы...

Наконец Гельнхаузену позволили изложить с таким трудом собранным и столь безудечно бездумным господам суть своего предложения. Речь его была неотразима, как блеск золотых пуговиц, выстроившихся в два ряда на зеленой жилетке... Все дело не станет и тридцати миль пути и усилий. При почти полной луне. К тому же по ровной дороге. А ведет она — коли господа не пожелают в палатки Монстер — через Тельгте, уютный городишко, обедневший, конечно, но оставшийся целым. А поскольку городу Тельгте издавна не привыкать видеть стада паломников, то и паломникам-поэтам там найдется место почти наверняка...

ПОД КОНЕЦ своей речи старый Векерлин был вынужден сест. Опустошенный, с отсутствующим взглядом, он уже не мог следить за происходящим, за тем, как другие, громче всех Рист и Мошерш, все больше распалялись, обращали свою ненависть ко всему чужому, не германскому, а ненависть к своему родному, немецкому. Каждый выплескивал то, что накопилось на душе. Гнев их походил на стихию. Разгораясь, как пламя, возбуждение сдернуло их со стульев, табуреток и бочек. Они били себя в грудь. Заламывали руки. Кричали друг другу: да где же она, их Германия, где ее искать? Существует ли она вообще, и если да, то в каком виде?

Когда Герхард в утешение вопрошавшим заявил, что им, избранным, будет даровано не земное, но небесное отечество, Грифус выбрался из свалки и принялся что-то искать у окошек. Затем схватил горшок с чертополохом, живым, так сказать, символом собрания, и мощно воздел его кверху, так что толпа раздалась при виде его угрожающей позы. Разъяренный дикарь, гигант, стенойущий Моисей, он, после нечленораздельных клокотаний, проревел: вот чертополох, немой, колючий, носимый ветрами, пожиривший ослыма, проклинаемый крестьянами, не растение, а плевок божьего гнева, — вот он-то и есть их отечество! С этими словами Грифус вдрнул оземь чертополох-Германию, и горшок разбился вдребезги.

Такой эффект как нельзя лучше отвечал настроению собрания. Положение отечества нельзя было представить с большей наглядностью. К тому же чертополох лежал невредимым посреди земли и осколков. Смотрите, вскричал Цезен, наша родина способна пережить любые падения!

Все глядели на чудо. И лишь теперь, когда компаний завладела детская радость из-за того, что чертополох оказался целым, когда юный Биркен стал присыпать корешки землей, а Лауремберг победил за водой, лишь теперь, когда настроение собравшихся сбросило ожесточение, но еще не перешло в праздную болтовню, теперь только заговорил Симон Дах, рядом с которым встал и Даниэль Чепко. Еще во время бурных дебатов оба деловито и прилежно занимались какой-то бумагой, которую переписал набело Чепко, а Дах зачитал теперь в качестве окончательного варианта манифеста.

Новый текст был свободен от громоздких проклятий Риста. Никаких претензий на окончательную истину. Всего лишь просьба собравшихся поэтов ко всем приверженцам мира — внять озабоченности пусть бессильных, но все же обреченных на вечность страдальцев слова. Не называя француз или шведов разбойниками, не выпячивая баварское разорение, даже не упоминая ни одного из враждующих вероисповеданий, авторы текста обращали внимание на возможные опасности, подстерегавшие дело мира в будущем: в долгожданном мирном договоре могли проныкнуть пассажи, из-за которых когда-нибудь вспыхнут новые войны; желанный религиозный мир при малейшем ущербе терпимости вновь поведет к неистовым распрям; при обновлении старого, обветшалого порядка любыми силами следует избегать того, чтобы возобновлялись и старые несправедливости...

Мирное воззвание в своей последней редакции кончалось упованием на милость божью и было без всяких споров подписано, сначала Дахом и Чепко, потом и прочими, после чего подписавшиеся стали радостно, с жаром обниматься, словно голос их же был услышан. Наконец-то мы были уверены, что чего-то добились.

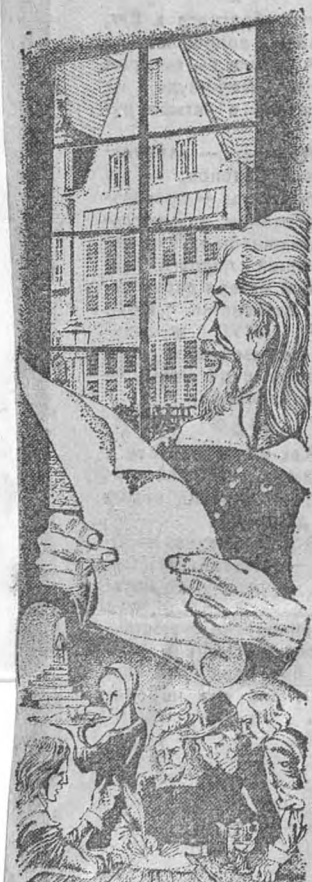
Раздался, однако, не колокол, но колокольчик. Нас слышали на трапезу, на рыбу ночного улова...

Перевел с немецкого Ю. АРХИПОВ
Рисунок В. СОПИНА

Гюнтер ГРАСС

ОТРЫВКИ ИЗ ПОВЕСТИ

ВСТРЕЧА В ТЕЛЬГТЕ



ВЧЕРА будет то, что было завтра. Не от нашего времени берут начало истории, кои мы наблюдаем. Эта вот началась более трехсот лет назад. Да и другие не поэты. В дальней дали тексты истоки всякого события, происходящего в Германии. О событиях, затеявшихся некогда в Тельгте, я пишу теперь потому, что один мой друг, сплотивший вокруг себя коллег году в сорок седьмом нашего столетия, вознамерился нынче отпраздновать семидесятилетний юбилей, хотя на самом деле он старше, много старше, и мы, его теперешние друзья, отнюдь не впервые седем и старимся вместе с ним.

Лауремберг и Грегфлингер поднялись из Юландии по рекам до Регенсбурга, а оттуда уже потопали вниз пешком. Другие прибыли верхом или в экипажах. Как иные под парусом одолевали реки, старик Векерлин приплыл в Бремен из Лондона. Пути их были и долги, и коротки, всяки. Какой-нибудь купчина, которому срок и число в календаре — все одно что прибыл и убыл, немало подвизался бы стремлением мужей-пустословов поспеть вовремя, тем более что города и веси все еще или снова уже смотрелись пустошь, поросшей крапивой и чертополохом; да и на дорогах шалили...

От недавнего Ведела, что на Эльбе, через Гамбург прибыл Иоганн Рист. Страсбургского издателя Мюльбена рейсовый экипаж доставил из Люнебурга. Хоть и неблизкий путь, зато надежный друг, ибо сопровождал господина своего кенигсбергского князя, совершил Симон Дах, чьему приглашению и последовали остальные. Еще за год до того был Симон писаны и с помощью курфюрста разосланы многочисленные письма, в коих оговаривалось время и место встречи. Нашло приглашение и Грифус, хотя он вот уже год как путешествовал со штеттинским купцом Вильгельмом Шлегелем — сначала по Италии, а потом по Франции; уже на возвратном пути (а если быть точным, то в Шпейере) вручили ему последние Даха. Он выехал вовремя, прихватив с собой и Шлегеля.

Возвремя прибыл и магистр языка Аугустус Бухнер из Виттенберга. Никто не пожелал уклониться. Ничто не могло и удержать — ни педагогическая, ни государственная, ни придворная служба, каменем висевшая почти на каждом. У кого не было денег на поездку, тот искал себе покровителя. Кто, как Грегфлингер, покровителя себе не нашел, того вело к цели

упрямство. А кому упрямышество помешало выступить заблаговременно, того подстерегало извещие, что другие уже в пути... Их тянуло друг к другу неодолжимо. Ведь, помимо всего прочего, было известно, что речь пойдет о мире, а в стороне от этой заботы не хотел оставаться никто.

Однако сколь ни жадно вняли они приглашению господина Даха, столь же быстро решимость их и угасла, когда вдруг выяснилось, что в Эзед, близ Оснабрюка, где должна была проходить встреча, не удалось подыскать помещение. Предусмотренная Дахом харчевня «У Раппенхофа» оказалась, несмотря на своевременный договор, занята штабом шведского военного советника Эрскейна. Ежели какие комнаты и оставались свободными от полковых секретарей и их командиров, то они были доверху забиты папками с делами. Большой трактирный зал, в котором можно было бы затеять желанный разговор и чинку рукописей, был превращен в продовольственный склад. Всюду слышались казенные и пехотинцы. Уходящие и приходили курьеры. Эрскейн даже не удостоил аудиенцией. Профос, коему Дах предъявлял письменное соглашение с трактирщиком, был громкогласно осмеян, когда попытлся требовать от шведской казны выплаты неустойки. Дах вернулся к ней с чем.

Тупая сила. Закованная в латы тщета. Идиотское ржание. Никому из шведов не были ведомы их имена. Им разрешили только передохнуть с дороги в маленькой каморке. Трактирщик советовал поэтам динуться в ольденбургские края, где без труда можно получить все, даже пристанище.

Уже силецы подумывали, не отправиться ли им дальше на Гамбург, Герхард засобирился назад в Берлин, Мошерш и Шнойберг с Ристом — в Голштинию, уже Векерлин справлялся о ближайшем корабле на Лондон, уже и сам Дах — воплощенное спокойствие в иные поры — стал отчаиваться в своем начинании, и все вышли с вещами на улицу, не зная, куда поехать, как перед самыми сумерками прибыли нюрнбержцы: Харсдёрфер со своим издателем Эндтером и юный Биркен, а сопровождал их рыжий бородач, представлявший Кристофелем Гельнхаузену. В своей зеленой безрукавке и шляпе с перьями он казался иллюстрацией неизвестно к чему, какой-то выдуманной картинкой. Кто-то тут же обронил замеча-

«Я ИЗ ПОРОДЫ СИЗИФОВ»

— Итан, доктор Грасс, «Встреча в Тельгте» — ваша последняя книга...

— Предпоследняя, — живо откликается Гюнтер Грасс, характерным жестом приспущая, а затем и снимая очки. — Последней была новая книга статей. Хорошо, уточним: «Встреча в Тельгте» — последнее опубликованное вами художественное произведение. Не возражаете, если мы начнем именно с него?

Пожалуйста... Наш разговор происходит в одном из холлов отеля «Штадт Берлин» во второй, заключительный день встречи писателей и ученых ряда стран Европы. «Литературная газета» уже писала об этой встрече * — она собралась в столице ГДР многих «жестяных дум», людей с европейскими и мировыми именами. Понаехали и журналисты из разных стран, в особенности из ФРГ. И довольно было мне приблизиться к Гюнтеру Грассу на расстояние двух шагов, выразить желание поговорить с ним, как, откуда ни возьмись, со всех сторон на нас навалились телекамеры, засверкали лампы-вспышки, а из-за плеч настырных операторов высунулись черные столбы направленных микрофонов.

Откуда такая напасть, почему столь подчеркнутое внимание к казалося бы, вполне обычному интервью? Причин, думается, две. Первая та, что еще со времен «Жестяного барабана» за Грассом закрепилась слава свелкого осыпателя. — «enfant terrible» западногерманской литературы, от которого в любой момент можно ждать резкого, словца, неожиданного поступка, короче, сенсации, скандала. Вторая причина — куда конкретнее: именно здесь, на берлинской встрече, скандал, с точки зрения иных посланцев западной прессы, был особенно желателен и даже необходим. Участники встречи, люди разных национальностей и убеждений, пишущие на разных языках, по-разному представляющие себе справедливое устройство общества, были тем не менее едины в главном: Европа должна стать континентом мира. «Нет» — безумным планам новой мировой войны, «нет» — ядерной смерти, ракетной, нейтронной, «ограниченной» или любой другой! Если бы на встрече было предусмотрено заключительное коммюнике, то

оно, несомненно, звучало бы именно так.

Что касается позиции; занятой на берлинской встрече Гюнтером Грассом, то она явилась предметом принципиального спора. В равной ли степени ответственны так называемые сверхдержавы — США и СССР — за новый виток гонки вооружений? Грасс, к сожалению, утверждал, что да. Ему возражали, с ним спорили советские писатели, писатели ГДР — спорили горячо, доказательно. И он спорил — тоже горячо, но ни разу не позволил себе сорваться на примитивно враждебный, оскорбительный тон. Вот это-то, видимо, кое-кого и не устраивало. И потянулись теле- и прочие репортеры, жаждущие сенсации, из зала встречи в кулуары: а вдруг тут в перевернутом Грассе заимлет «затум русское», что-нибудь «такое-этакое», что можно вынести в аршинные заголовки?

Уж не знаю, разгадал Гюнтер Грасс тайные чаяния непрошенных соучастников нашего разговора или просто привык к назойливой репортерской опеке — как-никак, сам расказывал, что провел, выступая за свою социал-демократическую партию, множество предвыборных митингов, — а только он не обращал на царящую вокруг суету ни малейшего внимания. Был собран, спокойный, улыбался, иногда задумывался. Три минуты, пять, десять... Разочарованно погасили вспышки, отползли телекамеры. Беседа шла своим чередом.

— Многие, кто читал «Встречу в Тельгте», удивились выбору времени действия, да и главным сюжетным ходом. В действительности писатель той далекой эпохи никак не мог собраться все вместе, даже если бы и захотели. Отсюда вопрос, не было ли, сразу да, чем привлекла вас именно эта эпоха? И основательны ли суждения тех критиков, которые увидели в вашей повести ретроспекцию каких-то событий нашего времени, зашифрованную историческую параллель?

— Должен сказать, что семнадцатый век занимает меня уже давно. В моем последнем

большом романе «Камбала» одна из девяти глав целиком посвящена эпохе барокко. Есть там уже и спор между двумя писателями — Мартином Олицем, который постарше, и Андреасом Грифусом, что помоложе. Спор этот относится к 1636 году. А потом я мысленно продолжил этот спор, и мне показалась интересной идея вообразить себе встречу писателей в последний год тридцатилетней войны и в то же время как бы наложить на нее опыт моего пребывания в «Группе 47», в которой я состоял с 1957 года. Отстояние эпох в данном случае не столь существенно, гораздо важнее то обстоятельство, что в итоге тридцатилетней войны Германия была полностью разрушена, язык страны был испорчен, опустошен. Все это вполне соответствовало тому, что выпало наблюдать моему поколению в 1945 году. Подчеркиваю, вторая мировая война разрушила не только города, мосты и заводы, но и язык за годы фашизма был во многом разрушен и опустошен. Такая ситуация побудила писателя Ганса Вернера Рихтера собрать вокруг себя в 1947 году группу коллег «Встречи «Группы 47», все всякого сомнения, способствовали тому, что в послевоенные годы в моей стране смогла возникнуть живая, способная литература.

В повести «Встреча в Тельгте» некоторые черты Ганса Вернера Рихтера приданы писателю XVII века Симону Даху. Но это единственное случайное подобие переноса: всех других писателей, выведенных в повести, я представлял себе на основе их произведений и биографии. К концу книги речь заходит о том, чтобы участники встречи в Тельгте вырабатывали совместный манифест с требованием мира. Вопрос, как видите, весьма актуальный. Возникают разнообразные трудности, связанные с составлением такого манифеста. В конце концов после долгих дебатов текст манифеста все же принимается, но тут в харчевне, где происходит встреча,

возникает пожар. Харчевня сгорает дотла, а вместе с нею и манифест. Мой авторский комментарий к этому событию: «Так и осталось невисказанное то, чего не хотели слышать».

— Еще один вопрос относительно «Встречи». Специалисты уверяют, что книга явилась для них неосчитанностью еще и в смысле ее языка. Строгая, прозрачная форма, чуть ли канонизированная, но почти без признаков гротеска — а ведь от вас, так уж повелось, ждут гротеска. Означает ли это стилистический поворот, о котором писал Пастернак, утверждавший, что с годами нельзя «не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту»?

— Намекаете, что мой возраст, так сказать, повернул на закат? (Смеется.) Но если серьезно, то не уверен, что Пастернак прав. Я ведь и раньше писал, исходя из разных установок, из тех, какие считал в данный момент естественными. Иной раз подчеркивал традиционную дистанцию писателя по отношению к изображаемому материалу, как, например, в первых трех книгах — «Жестяной барабан», «Кошка и мышь» и «Собачий год», где речь идет о жизни при национал-социализме перед войной, во время войны и о жизни в первые послевоенные годы. А позже я писал и другие книги, так сказать, параллельно событиям, по их горячим следам, без всякой дистанции. Включение или выключение временной дистанции, конечно же, влечет за собой и изменение стиля.

— А можно ли ожидать от вас, доктор Грасс, возврата к типологии ваших первых романов?

— Не знаю. У меня был счастливый период в жизни — он длился более десяти лет, — когда я писал книгу за книгой. Одновременно я очень много рисовал, а вот на то, чтобы заниматься еще и первой своей профессией — скульптурой **, сил

не хватало. Теперь же, после выхода последней книги, я сам установил для себя перерыв в литературных занятиях. И сразу же начал лепить. Это доставляет мне большое удовольствие и в то же время дает возможность, так сказать, разучиться писать, то есть освоиться от приемами рутинного мастерства. Думаю, что в отличие от технических профессий, которые требуют непрерывного совершенствования, в искусстве, когда достигнешь определенного умения, надо, быть может, «поглотить», сознательно вытеснить из памяти все, что умел, чтобы вновь научиться своей беспомощности перед чистым листом бумаги.

— Во всех ваших книгах содержится множество ассоциаций, реминисценций, литературных параллелей, рассчитанных на подготовленного читателя. Как, по-вашему, обязательно ли для читателя умение «дешифровать» вслед за вами все эти ассоциации, улавливать не только текст книги, но и ее подтекст?

— Действительность, с которой сталкивается современный писатель и от изображения которой он не вправе отказаться, чрезвычайно сложна и противоречива. Преимущество писателя перед ученым состоит в том, что при любой сложности изображаемого у писателя есть возможность сохранить общедоступную образность, наглядную цельность, так что читатель, даже если не поймет той или иной детали, все равно сохранит интерес к изображению и любопытство к тому, чего не понял. Считаю глубоко неверным профанировать читающую публику, которую мы ведь, в сущности, толком не знаем, опускается, так сказать, ниже собственного уровня, писать бедно, потому что публика ко- бы не слишком богата умом. Такого рода «массовую» литературу я считаю, по сути дела, оскорблением читателей.

— И последний вопрос. Разрешите процитировать Гюнтеру Грассу Гюнтера Грасса: «История... не может ничему научить нас. Абсурд — как в лотерее». Ускоренная неподвижность. Везде не покрытые счета, загроможденные поражения и ребиче-

ские попытки выиграть проигранные битвы задним числом. Так говорит один из ваших героев, и принято считать, что вы отчасти выразили в этих словах собственное credo. Однако верно ли это? Думается, что самый факт нашего сегодняшнего разговора, факт вашего участия в берлинской встрече доказывает нечто иное. Ведь если не верить в поступательный ход истории, не верить в то, что — и ней можно что-либо изменить — то и встречаться было бы бесполезно, и разговаривать не о чем.

— Цитата верна. И окаянное в ней соответствует моим убеждениям, хотя и требует разъяснений. Я и в самом деле противник гегелевской философии истории, которая придает истории некую авторитарность, некий высший смысл. На меня — это было вскоре после войны — оказала большое влияние экзистенциалистская полемика между Сартром и Камю. В юности я вообще испытывал сильнейшее влияние Камю. Теперь — постарев, как вы справедливо отметили, — могу точно определить силу и характер этого влияния. Я из породы Сизифов. Знаю, что камень, который я качу в гору, не останется наверху, что он вновь и вновь будет скатываться к подножию. Но, как и Сизиф, я не проклинаю камень, но смеюсь над богами, приговаривающими меня к нему. Мне хочется крикнуть голосом Сизифа-Камю: «Милые боги! Если вы хотите доставить мне удовольствие, не позволяйте камню и впредь покоиться на вершине — это было бы скучно...»

— Если всерьез, мы все должны постоянно катить этот камень, не из идеализма, но из трезвого знания, что без нас он никак не останется наверху. Поступательное движение, в моем понимании, — это бесконечный путь вперед, при котором приходится всякий раз начинать все сначала. Разумеется, мы не в силах обеспечить мир какой-либо одной дискуссией или одним манифестом, но такие ценности, как мир и свобода, нужно, по сути дела, каждый день завоевывать заново.

БЕРЛИН—МОСКВА

— Я очень рад нашему сегодняшнему разговору, — сказал в заключение Гюнтер Грасс. — Рад еще и потому, что очень хотел бы видеть свои книги изданными в Советском Союзе. Помимо романов и повестей, я писал стихи и пьесы, выступал с политическими речами и статьями. Не претендуя на все, полагаю, что советскому читателю было бы интересно познакомиться с некоторыми аспектами моего писательского труда, с возможностями моей повествовательной манеры — сатирическими, печальными, веселыми, саркастическими — и с моими воззрениями радикального демократа. Надеюсь, такое знакомство состоится...

На этом, собственно, можно было бы и поставить точку, но...

НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

О ЖАЖДЕ СКАНДАЛА, ПРИСТУПАХ ХОЛЕЦИСТИТА И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

Через неделю после завершения берлинской встречи в шпрингерской газете «Вельт» появился фельетон. Точнее, даже не фельетон, а пасквиль, в котором на голову Гюнтера Грасса были обрушены потоки самой грязной хулы. Очевидно, задание добиться скандала, а если его нет, то спровоцировать скандал продолжало действовать и после того, как участники встречи разошлись по домам.

За что же ополчился на Грасса шпрингеровский фельетонист Панкрац? Пересказывать грязный пасквиль — значило бы оказывать заодно с его автором. Но если попытаться, преодолеть гадливость, вычленив из сего сочинения самую его суть, то она сводится к простому вопросу: по какому такому праву «левые» литераторы лезут в политику и даже (вот ужас-то!) встречаются с коммунистами за одним столом? И вообще — не пора ли (по мнению «Вельта», давно пора) всех этих сторонников мира попрятать, подвести под какуй-нибудь «запрет на профессию», а то и проще — сунуть в кутузку?

Право же, если бы нужны были дополнительные доказательства успеха берлинской встречи, желчные филиппики г-на Панкраца следовало бы отнести к их числу. Но нелишне, пожалуй, добавить, что за охватившим шпрингеровских редакторов приступом литературно-политического холецистита кроется еще и мелкая, бессильная месть. Полтора года назад Гюнтер Грасс выступил одним из инициаторов движения «Мы не пишем для Шпрингера». Сегодня к этому движению примкнули практически все видные писатели ФРГ. А на службе у Аксея Цезаря Шпрингера со всеми его миллионными остались одни только панкрацы, и этого факта литературной жизни никакими пасквилями не одолеть.

Олег БИТОВ,
специальный корреспондент
«Литературной газеты»